

(Окончание. Начало в № 1–2)

ГЛАВА V. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА ГЛАЗАМИ РУССКОЙ КЛАССИКИ

*И если бы они въ мыслях имели то отечество,
изъ которого вышли;
то имели бы время возвратиться.
Евр. 11, 15*

Если до XV века включительно древнерусские книжники были ориентированы на Византию и ее духовное наследие, то с конца XVI века усиливается интерес к западноевропейской культуре.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I, образно говоря словами Пушкина, «в Европу прорубил окно». Поездки русских дворян на Запад становятся обычным делом. Их цели и итоги были, разумеется, разными. Так, например, русский писатель и издатель сатирических журналов конца 60-х – начала 70-х годов XVIII века Н. И. Новиков в журнале «Живописец» сообщал о «российском поросенке, который ездил по чужим землям для просветления своего разума» и возвратился «уже совершенною свиньей». Известные русские литераторы Д. И. Фонвизин и Н. М. Карамзин в форме популярного эпистолярного жанра делились с современниками впечатлениями о своем пребывании за рубежами Отечества.

«Величайший духовный и политический переворот нашей планеты, – отмечал Пушкин в 1830 году, – есть христианство. <...> История новейшая есть история христианства». В свете этого Россия является частью европейской системы. Однако «европейская» не есть «западноевропейская». Неслучайно в противовес Н. А. Полевому, автору «Истории русского народа», концом древней (дохристианской) истории и, следовательно, началом христианской эры Пушкин называет не факт падения Западной Римской империи, а факт разделения Римской империи на Восточную и Западную, предопределивший становление двух типов христианской духовности. Соответственно, Западную Европу Пушкин воспринимает как наследницу исторических судеб и культурных традиций Западной Римской империи. Именно западноевропейская история породила «европейское просвещение» как венец развития ее «темных, кровавых, мятежных и, наконец, расцветающих веков».

По логике Пушкина, и «расцветающие века» (то, что мы традиционно называем западноевропейским Возрождением), и «европейское просвещение» не могут для русского человека ни являться венцом развития, ни, тем более, служить эталоном. Последнее особо важно, поскольку, в противном случае, и пушкинские надежды на «благое просвещение» («Евгений Онегин», глава седьмая), и, особо, пушкинское стремление «в просвещении стать с веком наравне» («Чаадаеву», 1821 г.) могут быть неверно истолкованы как неизменная и неумная жажда достижения пушкинской личностью западноевропейского этало-

на (Подобное истолкование зачастую порождает желание определять значение личности русского гения с позиций евроцентризма. И тогда Пушкин окажется лишь создателем «оригинального русского варианта западноевропейского гуманистического жизнемудрия».)

История России для Пушкина несомненно ценнее западноевропейского Возрождения и Просвещения. В 1834 году поэт особо отметит, что Россия, «приняв свет христианства от Византии, <...> не участвовала <...> в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния. <...>...России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силы монголов и остановили нашествие на самом краю Европы». Достижения западноевропейской науки и культуры, по Пушкину, приходят в Россию с Запада не как дар высшей цивилизации, а скорее как частичная компенсация за возможность европейского «образования», предоставленную «растерзанной и издыхающей Россией». Компенсация, востребованная и вытребованная возмужавшей страной: при Петре I Россия «вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора и громе пушек».

В XIX веке почти каждый русский дворянин считал своим долгом побывать за границей. Для подавляющего большинства ярчайших представителей нашей литературы Золотого века путешествие в Европу стало или отправной точкой, или катализатором процесса возвращения в Отечество — творчески сложного и предельно индивидуального.

Пушкинская личность и в этом отношении уникальна, поскольку путешествие поэта в Европу состоялось, можно сказать, заочно, что ни в коей степени не повлияло на итоги его возвращения домой.

Прологом такого «путешествия» можно назвать страстное желание Пушкина уехать из России, начиная со времени пребывания в Одессе («Придет ли час моей свободы? // Пора, пора! — зываю к ней; // Брожу над морем, жду погоды, // Маню ветрила кораблей») и заканчивая стремлением во что бы то ни стало вырваться из Михайловской ссылки.

Эта надежда вырваться из Михайловского за

границу не оставит Пушкина вплоть до окончания ссылки. Однако параллельно Пушкин выходит на новые высоты, достижение которых связано с обретением и утверждением им собственной свободы в иной духовной системе координат — православной. Так, в конце мая 1826 года Пушкин еще мечтает о заграничье и противопоставляет ей «глухое Михайловское», но уже через месяц напишет гениальное стихотворение «Пророк», называющее этапы становления творческой личности и наполняющее человеческую жизнь высшим смыслом.

Творческая командировка Пушкина в Европу по линии русской классики, начавшаяся в лицейский период с преклонения перед «султаном французского Парнаса» Вольтером («Монах», 1813 г.), закономерно завершилась в русской деревне Болдино осенью 1830 года. Пушкинскими «отчетом» стали «Маленькие трагедии» (исследование основ устройства личности человека Запада) и «Повести Белкина» (изображение мира русской жизни и его возможностей с учетом опыта становления западноевропейской личности).

На рубеже 30-х — 40-х годов XIX века в русской общественной мысли стали оформляться западничество и славянофильство, диалектика противостояния которых на столетия определит накал споров вокруг исторических судеб России. Велись споры и по поводу степени и значимости западноевропейского влияния на русскую жизнь.

А. И. Герцен, позднее И. С. Тургенев и Н. П. Огарев уезжали на Запад, чтобы лучше «исполнить клятву» борьбы с русским социально-общественным строем, суть которого для них сводилась к крепостничеству. Такое стремление за границу, по словам Тургенева, напоминало «искание славянами начальников у заморских варягов». Такой путь закономерно вел к «отторжению от родной почвы».

Н. В. Гоголь и русский художник А. А. Иванов, годами живя в Италии, также смотрели на Россию из «прекрасного далека».

И те и другие, находясь за границей, старались уяснить для себя причины разлада русской жизни. Только одни, стоя на позициях европеизма, испытывали, по словам русского славянофила, философа и литературного критика И. В. Кире-

евского, «безусловное пристрастие к западной образованности и безотчетное предубеждение против русского варварства». Другие вели поиски путей преодоления противоречий на основе возвращения к вековым устоям национальной жизни.

Основоположник русского славянофильства А. С. Хомяков уже в 1835 году в стихотворении «Мечта» пророчески констатировал:

<...> Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес <...>
<...> и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток!

Сущность «мертвенного покрова» над Западом автор стихотворения разъяснит позднее в статье «По поводу Гумбольдта» (1848 г.): «Логика истории произносит свой приговор не над формами, но над духовной жизнью Западной Европы. <...> Всемирная история, осудив безвозвратно те односторонние духовные начала, которыми управлялась человеческая мысль на Западе, вызывает к жизни и деятельности более полные и живые начала, содержимые нашею Святою Русью».

Состояние отношений между Россией и Западной Европой абсолютно точно определил великий русский поэт и дипломат Ф. И. Тютчев в аналитической Записке «Россия и революция» (1848 г.): «Для уяснения сущности огромного потрясения, охватившего ныне Европу, вот что следовало бы себе сказать. Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества».

Причины экспансии Западной Европы в Россию будут названы Пушкиным в стихотворении «Клеветникам России» (1831 г.):

<...> И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
<...>
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Разумеется, так называемый «польский вопрос» (как, например, сейчас «украинский вопрос») для западноевропейских политиков («народных витий», по ироническому определению Пушкина) был только предлогом для реализации их далеко идущих планов «обращения Востока», пропагандистской прелюдией к Крымской войне 1853 – 1856 годов.

Весьма показательны, что Лермонтов в переломный момент становления своей русскости и прозрения в отношении европейского просвещения пишет стихотворение «Опять, народные витии...» (1835 г.), в котором следует за мыслью и основными положениями своего великого предшественника:

Давно привыкшие венцами
И уважением играть,
Вы мнили грязными руками
Венец блестящий запятнать.
Вам непонятно, вам несродно
Все, что высоко, благородно;
Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.

Одновременно с А.С. Хомяковым в стихотворении «Умирающий гладиатор» (1835 г.) он выносит свой приговор духовной жизни Западной Европы:

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,

Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд <...>

Лермонтов подтверждает свою «русскость души», о которой он в порыве озарения так проникновенно сказал в стихотворении «Нет, я не Байрон...» (1832 г.), в знаменитой «Думе» («Печально я гляжу на наше поколенье!..») (1838 г.).

Поэт покажет гибельность духа европейского просвещения для целого поколения русской дворянской интеллигенции 30-х годов XIX века, превратившегося в «толпу угрюмую и скоро позабытую». Автор стихотворения перечисляет те характерные признаки инородной прививки рационализма, скепсиса, размывания границ между христианским пониманием добра и зла, которые скоротечно превращают «привитое» русское юношество в «тощий плод, до времени созрелый».

Пушкин сумел вовремя распознать разлагающее влияние на русскую душу скепсиса с сопровождающим его кощунственным цинизмом по отношению к христианским ценностям. Молодой поэт за весьма краткий временной отрезок пройдет путь от восхищения Вольтером («султан французского Парнаса») до его едкой иронической характеристики («фернейский злой крикун») (Фернея – усадьба духовного отца кровавой Французской революции 1789 года). В период зрелости, в стихотворении «К вельможе» (1830 г.), Пушкин уже вполне определенно даст Вольтеру окончательную характеристику: «<...> циник поседелый, // Умов и моды вождь прониравливый и смелый».

Скепсис, как следствие «бремени познания и сомненья», порожден разрушительным действием западноевропейского рационализма.

«Мелкое мерило рассудка ничтожно для проявления целостности человеческой», – писал А. С. Хомяков. Герои русской классики, пытающиеся дойти своим разумом до того, что должно постигаться и приниматься сердцем, не только сами идут к личной трагедии, но и крайне отрицательно влияют на умы и судьбы окружающих их людей. Рефлексирующие, погруженные в глубокий самоанализ, в атмосфере бездуховности, они запутываются и «без Божества, без вдохновенья» истощают себя в отточенных логических построениях.

Таков ряд героев другого гения нашей литературы – Достоевского, которые доводят себя на этом пути до крайней черты и даже переступают ее.

Назовем парадоксалиста, героя «Записок из подполья» (1864 г.). Он сумел отстоять свою личность от соблазна ее исчезновения, однако остался «ретортным человеком» (в буквальном переводе с латинского *retorta* означает «повернутая назад»), отвернувшись от «идеи Христа». Поэтому герою ничего не остается, кроме как костенеть в своей «инерции»: «Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье!»

Рационализм Ивана Карамазова (роман «Братья Карамазовы», 1880 г.) при полном отсутствии нравственной составляющей приводит героя к выведению античеловеческой формулы: «Если Бога нет, тогда все дозволено». Отправным моментом рассуждений героя Достоевского становится неприятие им «мира Божьего». Его разум отказывается подчиняться законам бытия, без идеи Христа он не в состоянии понять сущность человеческого страдания.

Бунт Ивана Карамазова против «мира Божьего», отрицание им страданий и требование отмщения за них на земле во имя «любви к человечеству» есть карамазовская форма проявления любви к «общечеловеку». Иван признается: «Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. <...> Чтобы полюбить человека, надо, чтоб тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое – пропала любовь».

Писатель очень тонко и глубоко прочувствовал опасность любви к «общечеловеку» как форму реализации абстрактной умозрительной установки, предполагающей по отношению к реальному, живому человеку общий, неконкретный разговор его правах и свободах. Такая «сострадательная» любовь ни к чему не обязывает, ничем не затрагивает собственные интересы «любящей» личности. (В современной России такие иваны карамазовы вполне могли бы пополнить ряды так называемых «правозащитников».)

Разумом своим доходит Родион Раскольников (роман «Преступление и наказание», 1865 г.) до

страшной, бесчеловечной идеи личности «право имеющей». Идея настолько овладеет им, что на протяжении всего действия романа не дает по-настоящему раскрыться его доброму по природе, отзывчивому, человеколюбивому сердцу.

* * *

Западное давление (влияние) на Россию носило определяющий судьбы стран, континентов, судьбы всего мира характер цивилизационного выбора.

Западный мир разработал теорию прогресса, которую его сторонники, в том числе и искренние «русские европейцы», принимали и поддерживали как эталонную, безальтернативную. Однако Пушкин, который, как справедливо сказал Ап. Григорьев, «наше все», в период Болдинской осени – величайшем взлете его человеческого гения – активно работает над статьей «Второй том “Истории русского народа” Полевого» и приходит к убеждению, «что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы».

«“Восходящее” или “нисходящее” развитие истории, – отмечает современный литературовед Б. Н. Тарасов, – зависит не столько от избретаемых общечеловеческих ценностей (при уже существующих христианских!) или изменяющихся социальных учреждений, научных открытий или промышленных революций, сколько от «внутренних» установок сознания, своеобразия нравственных принципов и мотивов поведения, влияющих <...> на рост высших свойств личности или, напротив, на их угасание и соответственно на обустройство окружающего мира».

Еще К. С. Аксаков, рассуждая о значении слова «вперед», по сути определял русское понимание поступательного движения человечества, или, по-европейски, прогресса: «Человеческое вперед! не значит все далее и далее, куда бы то ни было, по одной черте, раз (хотя и ошибочно) избранной. Вперед к истине! – прибавим мы, и это прибавление освобождает нас от тесного, путевого понимания вперед! <...> славянофилы думают, что истинен тот путь, которым Россия шла прежде. <...> и воротиться на прежний путь не значит отказаться от стремления вперед, а значит, идти вперед, лишь по иному направлению».

Итак, славянофилы думают, что должно воротиться не к состоянию древней России (это значило бы окаменение, застой), а к пути древней России (это значит движение). <...> Последующее только тогда живо, когда оно вытекает из живого предыдущего и утверждается на нем как плод его жизни».

Если рассматривать утверждение Пушкина о «другой формуле» русской истории, другой формуле русской жизни, то становится ясно: русское понимание прогресса в основе своей имеет не научно-техническую, а нравственную составляющую.

В «Предисловии к роману “Обрыв”» (1869 г.) И. А. Гончаров особо проговаривает: «Источник знания неистощим <...>. Но напрасно <...> мыслители хотят измерить прогресс только мерилom знания <...>».

Мыслители говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие <...>».

Следовательно, высший уровень человеческого развития определяется нашей классической литературой степенью достижения русскими людьми, человечеством в целом, говоря словами Достоевского, «идеала человека во плоти», «идеала Христа».

Отвечает ли Западная Европа, выдвигающая свое понимание прогресса и свою модель исторического развития, этому высокому нравственному мерилу? – Русская классика в лице своих выдающихся представителей практически единогласно, коллективно отказывает Западу в таком праве, противопоставляя ему художественно и публицистически правду человеческой жизни, правду человеческого характера, правду Божественного замысла о человеке.

В стихотворении «Остров» (1836 г.) А. С. Хомяков, исходя из традиционных для православной личности представлений о «сокровищах земных» и «сокровищах небесных», отказывает в таком праве Англии. Англии, которая уже была хозяйкой половины мира, самой крупной и самой мощной колониальной империей. Англии,

которая построила «хрустальный» дворец, символ научных и технических достижений мирового масштаба. Англии, эталонной обладательнице самой «прогрессивной» на то время политической системы (парламентаризм).

Англия прочно овладела «сокровищами земными»:

Вся облита блеском злата,
Мыслью вся озарена,
Ты счастлива, ты богата,
Ты роскошна, ты сильна.
И далекие державы,
Робко взор стремя к тебе,
Ждут, какие вновь уставы
Ты предпишешь их судьбе.

Однако Англия забыла об истинных сокровищах — «сокровищах небесных», она, по мнению Хомякова, впала в грех гордыни, и уже поэтому не имеет права указывать человечеству путь в историческое будущее.

На тех же основаниях Хомяков противопоставит Англии Россию (стихотворение «Россия», 1839 г.). Сперва поэт еще раз укажет причины недостойности Англии быть избранной Богом:

И вся зарылась в груды злата
Царица западных морей <...>
Кует бессильные крамолы,
Дрожа над бездной, Альбион!
Бесплоден всякой дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка <...>
Затем назовет причины, по которым Россия
будет достойна такого избрания:

И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол творца прияла ты, —
Тебе он дал свое призванье,
Тебе он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд.

Повторное обращение поэта к России, в котором он органично проявит единый по духу христианский и патриотический — православный — пафос, состоится в период Крымской войны («России», 1854 г.). С одной стороны, как христианин он понимает недостойность России «быть орудьем Бога» и как патриот Отечества с болью видит пороки и недостатки русской жизни:

Но помни: быть орудьем
Бога Земным созданиям тяжело.
Своих рабов Он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

С другой стороны, он понимает, что только Россия может противостоять безбожию и лжи западного мира. Для этого-то ее «избрал и полюбил» Господь:

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил <...>
Россия, уверен поэт, должна исполнить волю Божию — победить силы зла. И одновременно будет идти процесс покаяния и очищения самой России.

Подчеркнем еще раз важную православную черту русской литературы. Не опускаясь до безоглядной критики всего и вся в России, не желая слепо следовать в русле так называемого «обличительного направления», лучшие представители нашей классики всегда умели различать добро и зло, отделять зерна от плевел.

Они умели, как это делал Достоевский, судить о русском народе не по тем мерзостям, до которых он может опускаться и опускается, а по святости и чистоте «идеи Христа», к которой народ неизбежно стремится. В унисон Достоевскому высказывался и создатель русского национального театра А. Н. Островский, которого демократическая

общественность XIX века стремилась представить обличителем купеческого самодурства и патриархальности русской жизни в целом. Островский резюмировал, обращаясь к подобным «союзникам»: «Исправители найдутся и без нас. Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее».

Вслед за Хомяковым к осмыслению проблемы прогресса, проблемы путей человеческой цивилизации с позиции русского взгляда на мир обращается И. А. Гончаров, которого отдельные современники и литературные критики склонны были отождествлять с обликом его самого известного героя – Ильи Ильича Обломова, домоседа и «лежебоки», обладателя знаменитого обломовского халата. Однако, во-первых, Обломов далеко не такой «лежебока», каким его представляют, а во вторых, его создатель совершил кругосветное путешествие на российском военном фрегате «Паллада» в 1852–1854 годах, впечатления от которого легли в основу знаменитой книги очерков «Фрегат “Паллада”».

Описывая путешествие, Гончаров противопоставляет парус паровой машине, ветер – пару. По сути речь идет о противопоставлении веры как духовно возвышающего начала человеческой личности и знания, нацеливающего на обретение материальной власти над миром и обеспечение комфортабельного существования.

Изображая Англию, русский писатель намеренно отходит от традиционной серьезности русского художественного слова и, не удовлетворяясь иронией, обращается к силе сарказма. Само качество предмета изображения требует от него этого. Английская природа, в восприятии Гончарова, возделана до того, что «все растет и живет по программе <...> Все породисты здесь: овцы, лошади, козы, быки, собаки, как мужчины и женщины». Следуя логике своего закона жизни («Здесь торговля есть жизнь!»), английские прагматизм и рачительность вторгаются в сферы, не связанные с ведением хозяйства и другого рода экономической деятельности. «Кажется, – констатирует Гончаров, – честность, справедливость, сострадание, добываются, как каменный уголь <...> для такой-то провинции или колонии добавлено столько-то правосудия...»

Такой закон жизни, активно используя силу пара, Англия стремится распространить на весь мир. Очень верно заметил по этому поводу автор

книги «Гончаров», писатель и литературный критик Юрий Лошиц: Англия не кончается Англией. В контексте мысли классика русской литературы это звучит устрашающе, во всяком случае – для остального мира.

«Владычица морей» (так англичане гордо называли свою империю) на всех парах несет миру, опираясь на научно-технический прогресс, свои цивилизационные установки.

С черными метками глобального нашествия англичан Гончаров встречается практически в любой точке своего кругосветного плавания: и на юге Африки, и в Китае, и на Ликейских островах в Индийском океане. В Шанхае англичане-колонизаторы ведут себя как «рыжие варвары». «Не знаю, – пишет Гончаров, – кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан, своею вежливостью, кротостью». Описывая жизнь «дикарей» Океании, Гончаров не скрывает к ней своих симпатий. Его ужасает не примитивная жизнь на многочисленных островах, а возможность попадания этих людей под пресс западноевропейской цивилизации: «Люди, страсти, дела – все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой <...> Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?»

Путешествие многое дало Гончарову, а в его лице и русской литературе, а значит, и русским читателям.

Первое. Неоднократно обращаясь в книге очерков к образу «дремлющего Востока», Гончаров увидит в «дремоте» пассивную форму сопротивления энергичной цивилизационной атаке со стороны Запада. Поскольку очерки писались в момент продолжения работы писателя над романом «Обломов» (1859 г.), мысль о пассивном противостоянии Ильи Обломова энергии действия петербуржцев, направленной на корысть и наживу, станет одной из важнейших для русского классика («Вот они не лежат, – говорит Обломов своему энергичному другу Андрею Штольцу, – а снуют каждый день, как мухи взад и вперед, а что толку? <...> Чем я виноватее их, лежа у себя дома <...>?»).

Второе. Гончаров увидел, что мир, говоря современным языком, многополярен, что утверждение в нем единой западной цивилизационной модели, лишенной духовной составляющей, губительно для всего человечества.

Третье. Писатель понял, что пассивного сопротивления западной экспансии явно недостаточно, что мир движется вперед и что Россия должна обязательно включиться в это поступательное движение. Однако она должна руководствоваться своими представлениями о путях исторического развития, исходить из «другой формулы» своей истории.

Об этом со всей определенностью русского православного человека, без ухода в отвлеченные идеи немецкой философии о «гармонии» мира скажет Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863 г.).

Если проблему прогресса и цивилизации И. А. Гончаров поднимал на примере Англии, Л. Толстой говорил о Швейцарии как средоточии Западной Европы, то для Достоевского символом западной цивилизации становится Париж, а ее воплощением – парижанин. Здесь, несомненно, Достоевский следует за Гоголем, который в повести «Рим» (1835 г.) представляет Париж как «размен и ярмарку Европы», как тот центр того мира, в котором человеческая душа растрачивается по пустякам, теряя верные нравственные ориентиры.

Настоящее страшное лицо европейской цивилизации, идущей и уже пришедшей в Россию, показал Н.А. Некрасов в поэме «Современники» (1875 г.). Поэма начинается следующими словами:

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».

И такое определение современности поэтом вполне оправданно, потому что героями русской жизни становятся «герои» капитализма: «юбиляры» и «триумфаторы». С их точки зрения, «царь вселенной – куш» (то есть крупная нажива). Соответственно, идеалами, которые должны быть увековечены в мраморе, являются банковские термины – Гарантия и Субсидия.

Метания «русской души» главного героя поэмы Григория Зацепина, по прозвищу Зацепа, закономерно завершаются приходом к самому выгодному для него и самому губительному для России делу – занятию винным откупом: герой наживается – русский народ спивается. Заявленное в конце поэмы понятие «русская честь» на поверку

оборачивается «честью» человека, стремящегося к тотальному ограблению мира:

О господи! удвой желудок мой!
Утрой гортань, учетвери мой разум!
Дай ножницы такие изобрести,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом –
Вот русская незыблемая честь!..

Вот, с точки зрения новых хозяев русской жизни, ее «юбиляров и «триумфаторов», формула «успешного» вхождения страны в мировое цивилизационное пространство!

Закономерно, что такой прогресс в изображении Некрасова предстает самым страшным и губительным из всего того, что только может случиться с родиной:

...Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что сегодня постыдным считается,
Удостоится завтра венца...

* * *

Самым тяжелым проявлением западноевропейской экспансии стало формирование в России особого типа людей (первоначально дворянина, а затем уже представителя других сословий) – «русского европейца», или «русского скитальца». Сюда же можно отнести столь известных нам «лишних людей», или «страдающих эгоистов» («эгоистов поневоле») – хрестоматийных героев русской литературы.

Трактовка термина «русский европеец» различна, даже полярно противоположна. Она зависит от мировоззренческих установок личности, о которых шла речь в первой главе. Мы будем характеризовать «русского европейца» с позиций русского взгляда на мир. А. С. Хомяков отмечал: «Всякий анализ <...> остается <...> в пределах того жизненного синтеза, из которого он возник, и человек, безусловно принимающий чужой анализ, делается рабом чужого синтеза» («Аристотель и всемирная выставка», 1851 г.). Так и с русским человеком: став на точку зрения западноевропейца, принимая его образ жизни, образ мышления, его систему ценностей, он начинает смотреть на русскую жизнь и на самого себя с позиций человека Запада. Как следствие, счита-

ет А. С. Хомяков, такой человек в лучшем случае может превратиться в «благонамеренного эклектика», а именно: «Создать для своего обихода какое-то эклектическое русско-западное существование бедными силами своего частного рассудка, и потом наложить это существование на величие Русской земли» («О возможности Русской художественной школы», 1847 г.).

Если же речь пойдет о худшем случае, то тогда русская классика как хранительница здорового консервативного (традиционного) начала будет говорить о русском либерализме. Уже А. С. Хомяков вывел закон русского либерализма, который гласит: «Порожденный не внутренним законом народной духовной жизни, а только исторической случайностью внешних отношений русской земли и временным деспотизмом местного обычая, он (русский либерализм. — Прим. авт.) сначала явился протестом против случайного явления, но по закону, может быть, необходимому он сделался протестом против всей народной жизни, против всей ее сущности: он отлучил от себя все русское начало и сам от него отлучился» («По поводу Гумбольдта», 1848 г.). В свою очередь, Достоевский особо подчеркнет нелюбовь русского либерала к России. Чем хуже для России — тем лучше, комфортнее чувствует себя русский либерал: «Факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. <...> Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять; но теперь уже стали откровеннее и даже слова “любовь к отечеству” стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное» (роман «Идиот», 1868 г.).

«Каждое время, — отмечал один из основателей русского славянофильства И. В. Киреевский, — имеет свой господствующий, свой жизненный

вопрос, над всеми преобладающий, все другие в него вмещающий, от которого одного зависит их относительная значительность и ограниченный смысл».

Таким «господствующим вопросом» современности для него стал «русский вопрос», связанный со «всемирно-исторической значительностью» России, а решение этого вопроса — с актуализацией (выявлением и уяснением) «корневого» начала ее национального бытия. Следовательно, пресловутый «русский вопрос» как сигнал опасности для Европы, исходящий из России, ставится и решается Киреевским как вопрос преодоления противоречий как западноевропейской, как русской, так и общеевропейской жизни.

Следуя логике Киреевского, смотреть на Россию, решая «русский вопрос», следует не с высоты «римского Петра» (католическая духовность), не с высоты Биг-Бена (формы английского парламентаризма), не с крутых берегов рек «Германии туманной» (немецкая философия). Для его решения нам следует присмотреться к глубинам «словенско-русских начал», сохранивших в себе неизменную жизнотворную христианскую основу. Русскому человеку (и прежде всего — русскому европейцу) — учит русская классическая литература — следует обратиться на Россию взгляд из глубины, с бескрайних равнин поля русской духовности.

Чтобы исполнилась клятва разрушения России, действительно, надо «уйти на Запад», на его всегда плодородную в этом отношении почву. Чтобы исполнилась клятва созидания России, корень жизни нужно искать дома, на «незамеченной земле» (Ф. Тютчев). ■